

Илья Беляев

ИГРА В ЗЕМУРКИ

ИЛИ

ОХОТА НА СЕРЕБРИСТОУХОГО ЛЮТА

Енот, — а, м. Пушной зверь
с темно-желтым ценным мехом,
а также, самый мех его.

С.И.Ожегов. Словарь русского языка.

1.

Травят ли енотов собаками? Трудно сказать, но нетрудно представить: голодный и усталый, молодой енот вконец затравлен собаками и жметя в своей норе в ожидании выкуривания. Он потен и несчастен, он несчастен и потен, этот молодой енот /плевать, что еноты почти не потеряют! / и мелко вздрагивает крупом. Собаки тщетно пытаются проникнуть в слишком узкое для их тел отверстие норы и от тщеты этой невозможности заливаются частым переливчатым лаем. Но вот идет охотник с головней. Сейчас он отгонит сделавших свое дело и потому ставших ненужными собак и введет в темноту норы необходимую головню с тем, чтобы в это время и в этом месте оказаться человеком с головней в руках, желающим выкурить добычу из ее логова.

А что же енот? Может быть, он пытается вырыть какой-нибудь ход наверх, чтобы выбраться? Или, наоборот, зарывается глубже, чтобы не достаться собакам? Или просто сидит неподвижно и с печальным лицом ждет своего смертного часа? И вспоминает свою несчастную любовь? Трудно сказать, но нетрудно представить: сквозь гулкие шорохи вечернего весеннего леса молодой енот отчетливо различает /о, ему не может казаться! / тончайшие похрустыванья, производимые нежными лапками его возлюбленной, увлекаемой все далее и далее в чащу...

Нужно сказать, что у енотов, как и у некоторых других млекопитающих, последнее слово всегда остается за ней. Он может, весь истерзанный, медленно угасать от неразделенности своего одиночества, но никогда ни один енот не сделает ни малейшего движения ни лапой, ни хвостом с целью доказать свое физическое превосходство над соперником.

Последнее слово всегда остается за ней. Какой контраст с маралами!

Или он вспоминает в уже начинающей заполняться дымом норе совсем другую любовь? И от счастливых воспоминаний он улыбается, и улыбка его подобна улыбке неродившегося ребенка, играющего с другими неродившимися детьми в странную игру, несколько напоминающую наши жмурки? /Игра заключается в том, что водящий, бегая с завязанными глазами, старается поймать одного из играющих, а поймав, должен угадать, что у того написано на роду. В случае правильного ответа он снимает повязку и включается в число играющих, пойманный же становится водящим. Называется игра "нерождайка", так как игрок, ни разу не попавшийся водящему, называется нерождайкой, поскольку по правилам игры, он теряет возможность появления на Свет Божий. Водящий, которому ни разу не удалось поймать кого-нибудь из играющих, согласно правилам, рождается енотом./

Но что бы ни происходило в темной и дымной норе, все было хорошо. Ну просто куда ни кинь, все было хорошо в комнате. Всюду было хорошо в комнате. Комната была такова, что, наверно, если кто-нибудь бы вздумал забраться на потолок, зацепиться там за что-нибудь ногами и просто повисеть, созерцая комнату из своего такого необычного положения, то ему все равно было бы хорошо. Трудно даже сказать, что всего лучше было в этой комнате. И, может быть, самым значительным являлось как раз то, что вовсе не хотелось отыскивать самое лучшее. Все здесь, казалось, было проникнуто той одухотворенностью в той самой степени, когда немеют уста, тщетно пытаюсь высказать что-либо по тому или иному поводу. Такая это была комната.

И был у этой комнаты хозяин, он же жилец, квартиросъемщик, арендатор жилищной площади в поднаем, законный владелец ордера, Олаф Ильич Навернов, таксидермист.

Нужно сказать, что внешний облик Олафа Ильича на редкость подходил к занимаемой им комнате. Еще в отрочестве Навернов выделялся на фоне сверстников почти нечеловеческой одухотворенностью черт своего лица. В зрелом же воз-

расте одухотворенность эта, оттеняемая проступившим мужеством и приобретшая тем характер синтетический, делала Олафа Ильича похожим на небезызвестного мужа Моны Лизы, одной улыбки которого было достаточно для прекращения вспыхнувших было беспорядков во Флоренции во время солнечного затмения 1504 года, когда на специально оборудованной тележке возили этого удивительного человека по улицам обезумевшего города и улыбающееся лицо его, освещенное двумя небольшими подвесными фонарями, заставляло соотечественников бросать молоты и дубины, прятать алебарды и дротики и расходиться по домам с чувством глубокого умиротворения.

Когда у Навернова собирались гости, большей частью коллеги-таксидермисты, и Олаф Ильич, несколько картинно развалившись в кресле у камина с позеленевшей от времени латинской надписью "С доверием относись к Богу в вещах, которые могут тебя убить", церемонно потягивал пеньковую трубку, кто-нибудь из присутствующих непременно не выдерживал и восклицал:

— До чего же у вас тут славно, черт побери! Да и сам вы, Олаф Ильич, простите, словно душака какая-то!

Навернов благодарно кивал и заливался сдержанным деликатным смехом, до которого был большой мастер. Как истинный и тонкий хозяин, он никогда не отводил комплиментов, справедливо полагая, что, пусть и без чувства сказанное, доброе слово стоит десяти выпаленных в гневе проклятий.

Когда гости уходили, Навернов оставался один. Посидев немного в кресле или постояв у окна, он подходил к большому ореховому шкафу, в котором помещалась его гордость — Большая Коллекция чучел, собиравшаяся Наверновым более двадцати лет. Здесь можно было найти уникальные чучела отцов отечественной таксидермии гениальных самоучек братьев Сорокиных, лучшие образцы зарубежных школ. На почетном месте помещалась гордость коллекции — редчайшее чучело синерьлой мурены, подарок голландской Академии Наук. В скромном уголку стояли и несколько чучел работы Олафа Ильича. Особенно привлекала взгляд его дипломная работа —

чуцело серебристоухого енота, исполненное согласно древне-китайскому таксидермическому канону: спокойная и, в то же время, собранная поза, глаза внимательно следуют за зрителем, конфигурация расположения лап символизирует древний китайский принцип равновесия "инь-ян".

Енот был собственноручно затравлен Наверновым в Тянь-Шане на преддипломной практике. Хитрое животное спаслось от собак в глубокой норе и Навернову, по совету старика-алтайца, пришлось применить головню, чтобы выманить редкого зверя на поверхность.

И вот Навернов подходил к этому шкафу, медленно, с оттенком торжественности отворял большие застекленные дверцы и долго стоял в раздумчивости, по-обыкновенно, несколько раскачиваясь на одной ноге, правой ~~какой~~ рукой потирал подбородок, а левой поплотнее запахивая полы темно-розового персидского халата. Ему не хотелось идти спать в такие вечера. Потряхивая уже начинающей сесть львиной головой на изящной антилопье шее, он бы так стоял и стоял, не в силах оторваться от своих сокровищ, а неподвижные сокровища вторили ему, тихо поблескивая своими стеклянными, каменными и пластмассовыми глазами.

Маленьким Олаф много читал. Невозможно было оттащить его от книжки с картинками, а чтобы оттащить от книжки без картинок, нужно было в течение получаса бить его чем-нибудь металлическим по лицу и груди. Но, слава Богу, никто не препятствовал развитию мальчика. Олафу книжки все более заменяли сверстников и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не произошел характерный казус.

Как-то, с лицом, печальным, как у молодого енота, маленький Олаф сидел на скамеечке и держал на коленях "Справочник таксидермиста" за 1881 год. Случилось так, что на справочник села муха и начала свой торопливый бег от верхнего края страницы к левому нижнему углу той же страницы, где помещалось изображение сушилки-распялки со вставленной туда шкуркой секача-голована. Как зачарованный следил маденький Олаф за ползущим насекомым, что-то такое почудилось ему в изумрудно-фиолетовом брюшке, в деликатно сложенных крылышках, в точеных лапках-хоботках, отчего сердце

забилося гулко и радостно, готовое выпрыгнуть и упорхнуть прочь прекрасной изумрудно-фиолетовой мухой.

"Что есть муха?"— думал маленький Олаф в то время, как насекомое замерло на регулирующем винте сушилки-распялки и начало лихорадочно сучить задними лапками. "Муха есть,— отвечал он себе,— маленький кусочек жизни с изумрудно-фиолетовым брюшком и лапками-хоботками. Я сейчас ребенок и потому не могу ответить на вопрос глубже. Надеюсь, когда вырасту, смогу сказать что-либо более путное по этому поводу. Сейчас же нужно решить, зачем эта муха сюда села, переползла страницу и стала сучить на чертеже-схеме распялки."

Однако, удовлетворительно ответить на эти вопросы представлялось не более возможным, чем на первый. Поломав голову, Олаф решил, что, пролетая, муха, должно быть, захотела отдохнуть, а, поскольку сразу начать отдыхать, только сев, ей стало вроде неудобно, то она и переползла страницу, и начала сучить только над распялкой. И также другое, более замечательное объяснение нашел этому случаю маленький Олаф. "Муха— это маленький кусочек жизни,— говорил он себе,— а я есть кусочек той же самой жизни, только побольше. Мать же часто говорит мне, что хоть я немного не в себе, но жизнь меня научит. Значит, муха меня учит. Она меня учит, что надо построить сушилку-распялку, потом найти дохлую кошку и сделать чучело. А если не найду кошку, то поймаю Рыжуху и усыплю, а если не достану снотворного, то просто убью."

С этой мысли в жизни маленького Олафа произошел перелом. Он с треском захлопнул "Справочник", чуть не прибив напуганную муху, вскочил на свои молодые ножки и побежал в сарай искать дощечки для распялки. Целую неделю тайком на чердаке сарая мастерил он сушилку-распялку, со скрупулезностью старого педанта соблюдая данные на чертеже-схеме размеры в дюймах. Наконец, страшная машинка была готова. Поскольку поиски дохлой кошки успеха не имели, а достать снотворное не представлялось возможным, надо было убивать. Напив Рыжуху в последний раз молоком, Олаф взял ее на руки и понес в сарай. Там он умертвил животное посредством длинного, заранее заточенного и очищенного от

ржавчины гвоздя, неумело освежевал тушку, мясо и внутренности закопал в огороде, а шкурку поместил в сушилку-распялку в соответствии с рекомендациями "Справочника".

Так начался Навернов как таксидермист. Потом были годы учебы, Высшие Таксидермические Курсы, Академия, аспирантура, профессорство, томительный опыт преподавания, членство, но никогда без волнения не мог вспомнить Олаф Ильичку, продырявленную гвоздем шкурку Рыжухи, неумело зашитую, набитую сырыми опилками, лишь отдаленно напоминающую чучело. Так всегда у людей застревает в памяти то, что впервые каким-либо образом намекает о будущем, подобно тому, как пробивающийся из земли росток намекает о впоследствии возникнувшем на его месте дереве, или как легкое колотье в боку при ходьбе может быть грозным знаком надвигающегося недуга.

Как-то, возвращаясь домой из Академии, Навернов обнаружил на скамейке рядом со своим подъездом маленького сморщенного человечка в помятом сером костюме с лицом-печеным яблоком, по всей видимости, также и горбатого. Человечек делал что-то непотребное — не то плакал, не то сморкался, не то его тошнило. Заинтригованный, Навернов присел рядом и, открыв портсигар, предложил незнакомцу папироску.

— Перед смертью не накурисься, — буркнул тот, искоса посмотрев на Олафа Ильича, вытер лицо большим клетчатым платком и папироску взял. Навернов щелкнул зажигалкой, и они молча закурили, как будто были давно и хорошо знакомы. Олаф Ильич считал, что имеет чутье на людей. Наверное, в известной степени так оно и было. Пожевав губами, незнакомец сказал:

— Спасибо за папироску. Хорошие они у вас.

Навернов отметил затаенную боль во взгляде незнакомца и мягко спросил:

— Вам, я вижу, отчасти не по себе?

Незнакомец закивал и попробовал улыбнуться.

— Позвольте представиться, Михаил Александрович Плев-

ков,— сказал он, приподняв подобие засаленного картузика.

— Навернов, Олаф Ильич,— сказал Навернов и пожал протянутую ему сухую сморщенную ручку.

— Так что жестряслось, голубчик?— Олаф Ильич почувствовал желание Плевкова поговорить и поплотнее уселся на скамейке.

Между тем летний вечер угасал. Стаи галок кружились над водонапорной башней, позлащенной последними отблесками уходящего солнца, и не было, казалось, пределу умиротворения в природе. Радостное чувство неизбежно охватывало всякого, кто имел возможность отдаться лиризму наступающих сумерек, раствориться в мягкой печали по поводу уходящего дня и устремиться дерзкой мыслью к начинающим ласково помигивать на востоке звездам.

Плевков слегка подался вперед своим тщедушным тельцем и проникновенно забормотал.

— Снова и снова я возвращаюсь к мысли о том, что я — маленький злой сморщенный человечек, который не знает, чего хочет и все ему не хорошо. Я не люблю небо и не понимаю землю. Вся жизнь меня преследует кошмар сентиментальности. Все вокруг меня сентиментальны, потому что думают, так мне легче будет сносить свое ничтожество. Я благодарен одному человеку, который дал мне пощечину. Какое это счастье — получить по физиономии, как нормальный человек. Правда, он был пьян.

Больше всего мне хочется сделать что-нибудь ужасное и посвятить это узкоглазому монаху, которого я однажды видел во сне. Это был единственный человек, который меня не пожалел, кроме того пьяного, конечно. Этим ужасным может быть какая-нибудь вещь, может быть, даже произведение искусства или поступок. Это должно быть настолько ужасно, что у меня захватывает дух, когда я начинаю об этом думать. Узкоглазого монаха я видел стоящим на краю отвесной скалы, которая обрывалась в удивительной красоты луг, поросший неизвестными мне цветами. Монах /не знаю, впрочем, почему я решил, что он монах, на нем был обыкновенный черный костюм и галстук/ стоял, опершись на толстую бамбуковую палку и смотрел на меня. Потом он описал палкой в воздухе

полукруг и отчетливо произнес, не отрывая от меня взгляда своих узких глаз:

— Сволочь.

Я тотчас понял, о чем он говорит. Несколько дней назад, гуляя по лесу, я заметил под деревом маленькую девочку, она стояла на коленях и молилась. Я пришел в бешенство, потому что ненавижу, когда молятся, подбежал к девочке сзади, схватил ее за волосы и дернул. Она упала на землю и заплакала. Я начал возить ее по земле, тусить и кричал что-то. Вскоре вдалеке появились какие-то гуляющие люди и мне пришлось убежать. Бегаю я вообще довольно быстро.

Я очень несчастный человек. Я видел только одного человека, который был несчастнее меня. Это был психически больной, он лежал в смиренной рубашке, постоянно вскрикивал: как я несчастен! как я несчастен! и кусал себе нижнюю губу. Верхнюю он уже всю обкусал до носа и не мог достать.

До такого я, конечно, еще не дошел, но все равно мне очень плохо. Мне плохо всегда и везде, иногда до того, что меня даже тошнит. Последний раз меня стошнило в автобусе, когда я увидел женщину с волосами, подкрашенными перекисью. Я ненавижу, когда подкрашивают волосы перекисью. Но больше перекиси я ненавижу детские считалки и собак. Например, когда я слышу считалку "раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять", я не знаю, что со мной творится. Мне сразу представляется полянка, на ней серенький пушистый зайчонок, мерзость! Вы не чувствуете всей гадости? Полянка, зайчик... нет, не могу.

Собак я ненавижу потому, что у них бывает течка. Конечно, течка бывает и у других животных, но у собак, по моему, это происходит наиболее омерзительно. Представьте. Весна. Грязная, шелудивая сука с гноящимися глазами, смрадной пастью и течка. Думаю, вам это не слишком приятно. Вы просто об этом не думаете, или делаете вид, что не думаете. Вы не любите думать о неприятном. Я же постоянно думаю о чем-нибудь неприятном, и вовсе не потому, что нахожу в этом какое-нибудь удовольствие, просто я иначе не могу. Вы, наверное, представили меня чудовищем? Да, я чудовище и знаю

это.

Вам, конечно, покажется странным, если я скажу, что был женат. Да, я был женат около трех лет, потом жена моя исчезла. Она вышла в воскресенье утром из дома, и с тех пор я ее больше не видел. Иногда мне кажется, что моя жена была похищена пришельцами, она была очень необычный человек. Например, могла часами сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. Она делала это, чтобы не раздражать меня. Она знала, что я терпеть не могу никакой беготни, никакого сумбура.

Моя жена удивительно кормила меня. Однажды она принесла кулек с маленькими живыми поросятами, размером каждый из них был не более спичечного коробка. Жена так искусно зажарила их, что они были еще вполне живы, когда я клал их в рот, даже слегка попискивали и шевелили ножками...

Еще моя жена играла на клавикордах. Она исполняла только одно произведение — "Колыбельную" собственного сочинения, но с большим мастерством. Прослушав несколько тактов этой удивительной мелодии, человек начинал зевать, а под конец погружался в глубокий сон. Эта "Колыбельная", собственно, и послужила причиной нашего знакомства, впоследствии перешедшем в брак. Я пришел к моей будущей жене по объявлению. Она давала уроки бенгальского языка, а в то время он меня очень интересовал. Мы договорились о цене и о времени занятий, и я уже собрался уходить, как вдруг она предложила мне послушать "Колыбельную", я остался и немедленно уснул. Когда я проснулся, то увидел, что лежу совершенно голый на диване, а она сидит рядом и читает книгу. Немало удивленный, я посмотрел на клавикорды и все понял. Я понял, что вот так и должно действовать на человека настоящее искусство, выбивать его из рамок ежедневности и среды.

Впоследствии жена мне призналась, что ей было противно раздевать меня, когда я уснул, но другого способа зафиксировать мое внимание она придумать не смогла. А во мне, как ей показалось, была соль. Я и сам думаю, что во мне есть соль. Так, наверное, каждый думает о себе. Хотя некоторым почему-то более приятно представлять, что в них изю-

минка. Это, конечно, дело вкуса.

Плевков закашлялся и умолк.

— А в чем же состоит, позволю себе спросить, ваша соль?— спросил Навернов.

— Моя соль состоит, по-видимому, в жажде ужасного,— повернув к Олафу Ильичу свое измученное лицо, Плавков несколько оживился.— Душа моя жаждет ужасного, хотя слабый мозг и пугливо упирается. Ужасное во всех его проявлениях имеет надо мной безграничную власть.

— А позвольте предложить вам еще такой вопрос,— сказал Навернов и закинул ногу на ногу.— Что бы могло послужить для вас, так сказать, образчиком самого ужасного из окружающей нас действительности?

Плевков вымученно улыбнулся, закрыл глаза и произнес после долгой паузы:

— Для этого мне пришлось бы рассказать вам одну историю. Угодно послушать?

— С удовольствием,— отозвался Навернов и закинул ногу на другую сторону.

Плевков качнулся вперед и забормотал.

— Дело было в середине прошлого века. Как известно, Индия в те времена принадлежала Соединенному Королевству. У богатых индийцев существовало обыкновение посылать своих детей по достижении ими совершеннолетия в Англию, чтобы те закончили или усовершенствовались там свое образование. Мадхави была единственной дочерью крупного индийского торговца шерстью Кришнасвами. Кончался ее второй год в Оксфорде, когда она встретила избранника своего сердца. Молодого человека звали Никольс Уэст. Несмотря на то, что Никольс был катастрофически беден, любовь их вспыхнула подобно молнии во мраке ночи. На просьбу дочери о браке с полунцием англичанином Кришнасвами ответил категорическим отказом. Но письмо летело за письмом, Бог смягчил сердце старика, и он велел молодым людям прибыть в Калькутту, чтобы принять окончательное решение.

Приняв Никольса как гостя своей дочери, старый Кришнасвами предложил ему пожить несколько дней в их доме, на

что тот с радостью согласился. За эти несколько дней англичанин понравился торговцу. Никольс показался ему толковым малым и, видимо, способным к продолжению его, Кришнасвами, дела. Короче говоря, день свадьбы был назначен.

Кришнасвами назначил Никольса управляющим в одно из отделений своей компании и поселил молодых в небольшом домике недалеко от Калькутты. Никольс и Мадхави были счастливы. Через год у них родился ребенок. Кришнасвами был доволен зятем. Энергия молодого Никольса, его английский и знание психологии соотечественников положительно сказывались на делах компании. За год жизни в Индии Никольс выучился немного болтать на бенгали, без особой, впрочем, нужды. И дома и на службе он обходился преимущественно английским. Близких друзей у него почти не было, за это время он сблизился лишь с неким Сабуρο, японцем по происхождению, попавшим в Индию в детстве и теперь занимавшимся так же, как и Никольс, торговлей. Никольс любил бывать у Сабуро. Почти не помнящий родину, тот сделал маленькой Японией свой дом. Этому служила и давно собиравшаяся Сабуро коллекция старинного японского оружия, предмет восхищения Никольса. Сабуро поил англичанина чаем и рассказывал ему о своем отце, принадлежавшем к таинственному клану няндзя.

Так текла жизнь молодого Никольса, и все шло к тому, чтобы стать ему законным переемником дряхлеющего Кришнасвами и главой компании, как вдруг все переменялось. Однажды вечером слуга принес Никольсу письмо. Адрес на конверте был написан на бенгали и Никольс, решив, что письмо для жены, отдал его Мадхави. Она пробежала глазами адрес, странно улыбнулась, вскрыла конверт и начала читать. Супруги были вдвоем в комнате. По мере того, как Мадхави читала письмо, облик ее менялся. Странная тень легла на лицо ее, глаза, пробегая строчку за строчкой, расширялись, руки тряслись. Не дочитав, она бросила листок и выбежала ~~явным~~ из комнаты. Никольс бросился за ней. Как ни просил он жену перевести ему письмо, все было напрасно. Дрожа от рыданий, она закрывала лицо руками и умоляла оставить ее. Помрачнев, Никольс отступился. Ночью Мадхави исчезла. Три месяца поисков оказались безуспешными. В начале четвертого

месяца она была подобрана торговым караваном на одном из опаснейших тибетских перевалов. Ее замерзшее и уже наполовину занесенное снегом тело заметили лишь по случайности.

После похорон Никольс явился к Кришнасвами и молча протянул ему письмо. Раздавленный горем старик бессмысленно уставился в протянутый ему листок. И вдруг странная тень легла на лицо его, глаза заблестели и впелись в бумагу. С тревогой и любопытством следил Никольс за ним. Прочитав письмо, Кришнасвами аккуратно сложил его и погрузился в глубокую задумчивость. Пораженный, Никольс не посмел спрашивать и удалился в сад. Вернувшись через полчаса, он нашел старика все в том же оцепенении. Взяв письмо, Никольс вышел, осторожно притворил за собой дверь и уехал к себе. Через два дня ему сообщили, что Кришнасвами принял обет молчания и удалился в ~~хле~~ таповану, то есть, в лес. В оставленном завещании он передавал дела и должность президента компании Никольсу Уэсту, оставляя его полноправным наследником всего капитала.

Много ночей просидел над письмом Никольс, обложившись словарями и грамматиками, но не понял ничего. Долго решал он, кого выбрать ему переводчиком рокового послания, и, наконец, оставил свой выбор на Сабуро. Сабуро читал на бенгали, но, что важнее, как истинный японец, представлял собой чудо выдержки и спокойствия. "То, что могло столь подействовать на впечатлительный индийский ум, не оставит и облачка на лице Сабуро", — думал Никольс, приближаясь к его дому.

Сабуро с большим вниманием и печалью выслушал рассказ англичанина. Они не притронулись к пиалам с дымящимся чаем. Достав письмо, Никольс протянул его Сабуро. Японец начал читать. Внимательно следил за выражением его лица Никольс, но ничего не мог заметить. Лицо Сабуро было подобно каменному изваянию, лишь темные узкие глаза летали по строчкам. Кончив читать, как и Кришнасвами, японец, отложил письмо и погрузился в задумчивость. Но это не была спокойная задумчивость индуса. Никольсу казалось, будто что-то нарастает в японце.

Вдруг Сабуро прыгнул. От неожиданности Никольс не успел даже вскрикнуть. Фигура в кимоно метнулась к стене, к той самой, где висели старинные самурайские мечи. Сорвав один из них, Сабуро распахнул кимоно и, приставив меч к левой стороне живота, собрал под него кожу, а потом отпустил ее. Это было харакири. Забрызганный кровью, стоял Никольс и смотрел в гаснущие глаза своего друга. Прошептав что-то, Сабуро вытянулся и умер. Никольс схватил письмо и выбежал из дому.

Закашлявшись, Плевков умолк.

— Позвольте еще папиросочку, — сказал он после некоторого молчания. Олаф Ильич вынул портсигар.

— И что же было потом? — спросил он, щелкнув зажигалкой.

— Потом? — Плевков глубоко затаился и прищурился. — Потом Никольс стал бродягой. Он не стал ни президентом компании, ни наследником. Зашив письмо в кожаный конверт, он спрятал его на груди и отправился странствовать. Долго носило его по свету, сильно потрепала его жизнь, и он все реже вспоминал странную историю, произошедшую с ним в молодости.

И вот однажды случилось ему придти в один порт, где он нанялся матросом на голландское судно. Так Никольс начал плавать. На второй или на третий год плавания на борту их судна был принят молодой индус. Они быстро сошлись с Никольсом и часто, вспоминая Индию, выпивали не один лишний стакан. Никольс рассказал индусу многое из своей жизни, многое, но не все.

Как-то, когда судно стояло на рейде, они выпивали в кубрике и Никольс случайно расстегнул рубашку. Увидев кожаный конверт, любопытный индус пристал к Никольсу и вынудил его рассказать все. Узнав, в чем дело, он тут же предложил перевести письмо, поскольку умел читать на бенгали. Но Никольс отказался. Он сказал, что письмо уже погубило трех человек, и с него этого достаточно. Однако, индус продолжал настаивать и, наконец, они порешили на том, что Никольс намертво привяжет его к мачте, а письмо будет держать перед лицом. Покачиваясь, они вышли на палубу. Стоял

прозрачный ветреный день. Заведя индусу руки за мачту, Никольс стянул их так, что тот едва мог дышать. Распоров конверт, Никольс достал письмо и поднес к лицу индуса. Внезапный порыв ветра вырвал письмо из рук и понес над палубой. Никольс бросился за ним, но, споткнувшись, упал. Когда он поднялся, письмо отнесло за борт. Бумага коснулась воды. Перегнувшись через леер, Никольс понял, что прыгать поздно. Буквы расплылись, потемнели, листок начал медленно погружаться и вскоре исчез из виду.

— И это все?— воскликнул Навернов, вопросительно глядя на рассказчика.

— Да, все,— сказал Плевков, чему-то улыбаясь.

— Но позвольте, что же было в этом письме?

— Ну, это совсем другая история. А мне уже пора. Я немного продрог.

— Так давайте поднимемся ко мне, у меня есть прекрасное согревающее.

Плевков покачал головой.

— Да бросьте, бросьте, не упирайтесь,— наседал Навернов, обрадованный, что чутье на людей его и в этот раз не подвело.— Вот же он, мой подъезд, мы как раз напротив и сидим. Мне, право, неловко, что я вас сразу не пригласил.

— Помилуйте, мы ведь не были знакомы.

— Ну вот ведь и познакомились,— говорил Навернов, подавая Плевкову руку и подталкивая его к парадной.

Как оказалось, бедняга хромотал. Они вошли в подъезд и поднялись на последний этаж.

— Вы ужасно, однако, заинтриговали меня с этим вашим письмом,— сказал Олаф Ильич, запуская гостя в комнату.

— О, какая у вас комната!— ахнул Плевков, войдя.

— Осталась от деда. Когда-то его дом был. Позвольте картузик.

— Поразительный, поразительный метраж,— бормотал Плевков, освобождаясь от картузика.

Усадив гостя, Навернов заметил, что на коленях у Плевкова помещался маленький невесть откуда взявшийся саквояжик.

— Не хотите ли кофе?— спросил Олаф Ильич.

- С удовольствием. Позвольте только задать вам один вопрос перед тем, как вы пойдете на кухню и поставите кофейничек.

- А именно?

- Вы таксидермист?— спросил Плевков, диковато оглядываясь.

- Вы очень проникательный человек, Михаил Александрович,— сказал Навернов, склонив в улыбке свою львиную голову.— Одну минуту.

И вышел с кофейником. Только дверь за ним притворилась, Плевков вскочил со своего места и нервной рысцой забегал по комнате, прижимая к груди саквояжик. Храмота его будто бы исчезла. Подбежав ко шкафу с Большой Коллекцией чучел, он замер в напряженной стойке, словно приноживаясь. Глаза его не мигая смотрели на дипломную работу Навернова— чучело серебристоухого енота, выполненное согласно древнекитайскому таксидермическому канону: енот застыл в спокойной и в то же время собранной позе, глаза внимательно следили за Плевковым, конфигурация расположения лап символизировала древний китайский принцип равновесия "инь-ян".

В коридоре слышались шаги и Плевков поспешил на место. Олаф Ильич вернулся с дымящимся кофейником. Прихлебывая приятный напиток, они вернулись к разговору.

- Так как же все-таки с письмецом?— начал Навернов.

- Позволю себе напомнить, с чего я начал эту историю,— промолвил Плевков, хитровато улыбнувшись.— Если не ошибаюсь, вы спросили меня, что бы могло послужить образчиком наиболее ужасного из окружающей нас действительности?

Навернов кивнул.

- Вот вам и ответ на ваш вопрос. Текст письма достаточно ужасен, чтобы служить таковым образчиком.

- Позвольте, позвольте,— перебил Навернов,— но вы говорите в таком тоне, что, можно подумать, подобное письмо действительно существовало и, страшно представить, существует и теперь. Хотя вы сказали, что оно утонуло, не так ли?

- Сказать-то сказал, но кто знает, возможно, кто-ни-

будь успел снять копию...

- Вы меня решительно интригуете, вы любопытнейший человек! - в легком нервном возбуждении Навернов вскочил и скрылся за загородкой в дальнем углу своей комнаты. Вернулся он в своем темно-розовом персидском халате, держа в руке полбутылки коньяку.

- Вы не возражаете?

Плевков помотал головой.

- Этот коньяк настоен на тьяншаньском мумие. В некотором роде лечебное средство.

Навернов разлил. Не чокаясь, выпили со знакомством.

- Я понимаю ваш интерес к содержанию письма, - сказал Плевков, ослабившись и вытирая рот сморщенной ладошкой, - интерес не только чисто человеческий, но и, так сказать, естественнонаучный, но, к сожалению, ничего определенного сказать не могу. Признаться вам, нередко, в крайнем отчаянии, напрягал я свой мозг, и казалось мне, что вот-вот забрезжит краешек смысла этого невероятного текста...

- Забрезжит?

- Да, именно забрезжит, но всякий раз слабый разум ступал, охваченный ужасом открывающегося ему. Но не подумайте, что я имею сказать вам что-либо определенное. Это так, только тени, тени...

О, какой я несчастный человек, - Плевков опять забубнил, как давеча на скамейке, - если бы вы только знали, насколько полна скрытого трагизма моя жизнь, да и вряд ли самим этим словом можно обозначить мое теперешнее состояние. Дома, например, последнее время меня мучают стены. Душат, - Плевков схватился рукой за горло. - Соберутся за полночь у постели и наваливаются, каждая так по-своему особенно поддушивая.

- Какой ужас! - закачал головой Навернов, - а вот я вам про себя скажу. Для меня главное - это работа. Она как бы служит ширмой, не дающей сознанию отдаться кошмару окружающей нас действительности. О, пожалуйста, не улыбайтесь. Я понимаю, что меня не трудно представить таким благодушствующим сибаритом в этом вот персидском халате, витающим

в некоторых, так сказать, умозрительных сферах, но такое впечатление обманчиво; может быть, не с вашей остротой, но я вижу и вполне отдаю себе отчет в том гигантском количестве безобразных вещей, окружающих нас, в тех ужасных, порой поистине трагических метаморфозах, которые...

Олаф Ильич перевел дух и опрокинул рюмку коньяку.

— Которые... черт, сбился с мысли. Но это не важно. Да, так работа. Работа, повторяю, радость творческого труда — это якорь спасения в этом мире скорби, выражаясь поэтически. Поверьте, в этом есть что-то поистине неизбежное.

В это время Навернову вдруг показалось, что Плевков как бы слегка подпортил воздух, но, словно не замечая этого, Олаф Ильич продолжал:

— Не подумайте, что никогда и нигде я не встречал препятствий к своему труду. Помню, еще в юности одна девушка, в которую я был тогда горячо и искренне влюблен, поставила мне условием оставить таксидермию, если я ею, девушкой, дорожу. Условие показалось мне заведомо невыполнимым, но ведь я был влюблен, влюблен! Понимаете ли вы, что это такое?

Воодушеваясь, Олаф Ильич вскочил и крупно заходил по комнате.

— Да, — тихо отозвался Плевков.

— После долгих раздумий я, наконец, также решил поставить ей условие. Оно заключалось в том, что девушка должна была предоставить мне для чучела свою морскую свинку Вioletту. Меня очень занимали тогда свинки /о, они таят столько возможностей! / Но не буду отвлекаться. Так вот, эта свинка должна была стать якобы последним чучелом в моей жизни.

— Неужели она так ненавидела вашу профессию? — спросил Плевков, заметно оживившись.

— Что вы! Она относилась к ней с содроганием. Она была в Обществе защиты животных, почетным членом которого, кстати сказать, состою и я.

— И вы не пытались объяснить ей, заинтересовать ее своей работой?

— На это была потрачена масса времени и сил, но все упиралось в единственный аргумент: "я люблю их живыми".

Вы ведь знаете женский ум. Я ли не пытался растолковать ей, что курица, которую она ест в супе, может иметь другое, более высокое назначение, а именно: ожить под рукой художника, но все было напрасно. И вот она поставила мне это условие, на которое я ответил своим. И что, вы думаете, она сказала?

— Что?— Плевков вытянул шею и привстал со стула.

— Она отравилась.

— Невероятно!

— К счастью, ее успели спасти.

Наступила пауза. Навернов подошел к окну и отворил его. Потянуло вечерней сыростью.

— Совсем забыл!— всплеснул вдруг руками Плевков.— Извините, что, может быть,, не по теме, но у меня есть с собой уникальная вещь.

Он раскрыл саквояжик и вытащил оттуда коробку конфет с затейливым рисунком. По черно-золотистому фону летели синие птицы с женскими головами.

— Это "Ночной дукат". Экспортный вариант, совершенно необыкновенный вкус, угощайтесь, пожалуйста.

Плевков открыл и протянул Навернову коробку.

— Так это же мои любимые!— обрадовался Олаф Ильич, беря конфету.

Выпили еще. Темнело. Навернов подошел к торшеру, чтобы зажечь свет, но у него почему-то не получилось. Руки были как ватные.

— Да бросьте возиться с торшером, я отлично вижу в темноте,— словно со стороны откуда-то донесся голос Плевкова.— Покажите-ка лучше вашу замечательную коллекцию!

Олаф Ильич послушно подошел к шкафу и отворил дверцы.

— Охотно,— отозвался он. — Начинаю показ я обычно со своей дипломной работы, вот с этого серебристоухого енота, которого как-то собственноручно выгнал из норы, а было это на преддипломной практике...

— Да бросьте, бросьте,— неожиданно горячо зашептал Навернову на ухо голос Плевкова откуда-то рядом,— знаю я про этого енота, как вы его головней.

Олаф Ильич широко ~~открыл~~ раскрыл глаза.

— Слушайте, слушайте, не перебивайте, — продолжал шептать Плевков, не отпуская рукава наверновского халата, который как-то незаметно ухватил. — Сейчас настал очень решительный момент для нас обоих. Мы ведь одни в комнате?

Навернов механически кивнул.

— А раз так, то слушайте. Все, что я рассказал про письмо, никакая не выдумка. Смотрите!

Плевков отпустил рукав и бросился к своему саквояжику. Порывшись, он вытащил оттуда потертый кожаный конверт. Олаф Ильич остолбенел.

— Письмо ваше, если вы согласитесь сделать для меня одну вещь.

— Значит оно не утонуло?

— Такие вещи не тонут.

— И вы хотите отдать его мне?

Плевков улыбнулся.

— Но оно же на санскрите, или на чем там.

— На бенгали. Но можно перевести, есть специалисты.

Главное — оригинал, понимаете?

— Как не понять, — Навернов попятился и внутренне похолодел. — Что же вам угодно?

Плевков рухнул на колени.

— Умоляю вас, сделайте из меня чучело!

— Что? — Навернов еще попятился и внутри у него похолодело сильнее.

— Сделайте из меня первое человеческое чучело в вашей жизни. Я знаю, вы давно тайно мечтали об этом. А быть вашим первым и, может быть, последним чучелом хочу только я. Вы великий мастер. О, не прерывайте меня, я знаю, о чем вы подумали. Нет, вам не придется убивать меня, смотрите: я завещаю вам мое тело!

С этими словами Плевков вытащил из ~~кармана~~ саквояжика странной формы, по-видимому, самодельный револьвер и выстрелил себе в лоб. Тело его мягко повалилось на ковер, и ворс начал быстро набухать от крови. Внезапно зажегся торшер, осветив страшную сцену. Мертвый, Плевков удивительно походил на застреленного перед входом в свою нору енота. С перекошенным лицом Олаф Ильич поднял с полу кожаный кон-

верт и застыл в нерешительности.

2.

Застыв, Навернов понял, что ему страшно. Вернее, он испугался. Испугался простым человеческим страхом чего-то неминуемо надвигающегося на него, чему нет ни имени, ни названия. Имей оно имя или название, душа, должно быть, не так сжималась бы от его леденящего прикосновения, будь оно каким-нибудь рябым чертом или плешивым домовым, с которыми хоть приблизительно знаешь, как себя вести. Но, будучи не названо, оно может заставить человека приседать, прижав уши, и, не чувствуя вспотевшего лба, бормотать отдельные слова и фразы, которые, пребывая в обычном состоянии, он сможет воспроизвести лишь с большим трудом. Впрочем, это бывает нечасто. Чаще всего оно, подобно маленькому клопу-живоеду, сосет какую-нибудь незначительную часть нашей души /ну, скажем, часть, ведающую прогулками в иных опасных или запрещенных для гулянья местах/, и так незаметно сосет, что в повседневном течении жизни как бы и не ощущается, но, при известных обстоятельствах, будучи усугублено последними, оно может толкнуть человека к некоторым догадкам...

Впрочем, расскажем лучше, что произошло на одном шумевшем вернисаже с четырнадцатилетней Олей Барбанель.

Нужно сказать, что девочка отличалась удивительными способностями к левитации. Еще в младенчестве она вызывала недоумение своей матери, умудряясь выпадать из кровати безо всякого для себя вреда. Сотоварищей по играм Оля приводила в восторг затычными прыжками через речку, подолгу зависая над поверхностью воды.

Как-то, будучи в пионерском лагере, она прыгнула через дружинный костер, замерев над пламенем на несколько

минут, чем вызвала паническое бегство воспитателей и вожаков вкуче с пионерсоставом. Среди администрации лагеря пошли толки, результатом которых был педсовет, на котором Олю попросили продемонстрировать свои замечательные способности. Вылетев в растворенное окно пионерской комнаты, где происходило собрание, девочка принялась кружиться над лагерным флажтком наподобие ночного мотылька. По решению затянувшегося до утра педсовета из города был вызван представитель. Детально осмотрев девочку и признав ее полностью вменяемой, представитель попросил Олю исполнить несколько простейших воздухоплавательных фигур, после чего составил протокол, заверив администрацию лагеря, что так этого не оставят.

И действительно, девочку заметили. Вскоре она стояла в кабинете Председателя Государственного Комитета по свободному падению и левитации. Председатель жал ей ручку, называл Ольгой Михайловной и просил садиться. После этого Комитетом был дан торжественный ужин, на который были приглашены ветераны отечественной левитации. Сердечно поздравив девочку от имени всех присутствующих, Председатель вручил ей памятный подарок — статуэтку Икара в национальном костюме с выгравированным на пьедестальце греческим изречением "Левитация суть свободное падение" /слово "свободное" было нацарапано каким-то особым затейливым образом, вроде даже и не по-гречески/, что вызвало бурную эвацию и общий подъем в зале. В заключение Председатель предложил тост за крылатую юность. Все выпили стоя. Олина мать, присутствовавшая на торжестве, не могла удержаться от душивших ее слез.

Как и следовало ожидать, жизнь маленькой летуньи круто переменилась. Конференции, симпозиумы, званые обеды, митинги, большая общественная работа непосильным бременем легли на хрупкие плечи девочки, поставили под угрозу школу.

И вот как-то усталая, вернувшись со съемок очередного популярно-научного фильма по заказу Комитета, она объявила матери, что так больше не может. На маленьком семейном совете было решено, что Оля сделает официальное заявление об утере своих замечательных способностей. Таковое заявление было сделано, и, после небольшой медицинской комиссии, на

которой было установлено, что ребенок к парению без посредства физических аппаратов или иных летательных средств не способен, для Оли началось возвращение в прежнюю жизнь обычной четырнадцатилетней девочки. Но не так-то легко было ей, привыкшей к вспышкам блицев и жгучим солнцам юпитеров, вернуться к тихому свету будней.

Так и случился с Олей небольшой казус, имевший, как в дальнейшем оказалось, последствия судьбоносные. Дело было на вернисаже Олафа Ильича Навернова, где экспонировалось более двухсот его произведений. Оля была приведена на вернисаж матерью, которая только и интересовалась ловкими отечественной таксидермии.

Олаф Ильич сам встречал посетителей в бордовом костюме с золотой искрой, обмениваясь с вновьприбывшими дружескими репликами, остря и вручая каждому памятный значок-енота с серебряными ушками, держащего в зубах инициалы "О.И." Любуясь экспонатами, публика мерно обтекала витрины и стенды с тихим восторженным гудом. Мало кто ожидал, что сидящий лев отечественной таксидермии сможет в своих последних работах развернуться с таким искрометным, воистину жизнеутверждающим размахом юности.

Привлекая всеобщее внимание, под потолком висело стилизованное чучело-макет сизогрудого буревестника. Устремленная вперед, на зрителя, огненным взглядом пронзая входящих, птица как бы символизировала творческую мощь Олафа Ильича, размах неудержимой фантазии артиста. Гул в публике нарастал, потянулись за автографами.

И вдруг неуместной, диссонирующей нотой в пульсирующую атмосферу вернисажа ввинтился громкий детский плач. Прижавшись носом к защитному стеклу одной из витрин, Оля Барбанель издавала пронзительные и горестные рыдания. Встревоженная мать крепко обнимала ее, тщетно пытаясь успокоить.

- Папа, папочка... - слышалось сквозь рев девочки.

Напоминая несуществующую скульптуру Милена, мать и дочь стояли перед витриной с серебристоухим енотом. Енот внимательно смотрел на них, напряженно подавшись вперед

корпусом, словно вот-вот готов был подбежать и обнюхать, если бы не приклеенные к подставке лапы. Упругой походкой Олаф Ильич подлетел к девочке /он узнал ее по газетам/ и, ласково потрепав Олю по темно-каштановым, с кровавым отливом волосам, мягко осведомился, в чем дело. Мать беспомощно развела руками. Тогда он достал из кармана конфету в синей обертке и протянул девочке.

- "Ночной дукат"?- спросила мать.

- Да,- сказал Навернов.

Мать странно улыбнулась.

Между тем, Оля неожиданно быстро успокоилась. Вытерев глаза большим клетчатым платком, она подняла их на Олафа Ильича и, жуя конфету, рассмеялась коротким журчащим смешком, от которого Навернову стало как-то не по себе. Наклонившись к уху стоявшей вполоборота матери, он шепнул:

- Очевидно, сказывается нервное напряжение. Все-таки тяжело в таком возрасте...

Внезапным и резким движением повернувшись к Олафу Ильичу, женщина громко взвизгнула:

- Да, конечно!

Навернов отпрянул. Взяв дочь за руку, мать решительной походкой направилась к выходу. Обернувшись, Оля улыбнулась Олафу Ильичу. Тот не знал, что и подумать.

Неделю спустя Навернов встретил Олю в сквере. Вихляя смешной челочкой, она подбежала к нему. В глупо замелькавшем разговоре /Олаф Ильич никогда в жизни не разговаривал с четырнадцатилетними девочками/ Навернову почудилось какое-то не по-детски пристальное внимание Оли к нему. Не зная, что бы придумать, он угостил ее фруктовым мороженым и купил два билета на фильм со сказочным названием. Фильм оказался про циклопов. С ужасным ревом они отрывали куски скал и бросали в море. Вложив свою ручку в руку Навернова, Оля потянулась к нему и спросила:

- Олаф Ильич, а вы научите меня делать чучела?

- Естественно,- машинально ответил Навернов, увлеченный ходом фильма и пожал мягкие пальчики.

Так началось это странное знакомство. Оля стала бывать у Олафа Ильича. В самое неожиданное время влетала

она в его комнату, наполняя помещение щебетом юности, будоража что-то терпкое и клейкое в сердце таксидермиста. Если окно было закрыто, то, постучав в стекло, Оля ждала, пока Навернов отодвинет шпингалет, и долго смеялась потом над страхами Олафа Ильича /"мало ли кто увидит"/, объясняя, что залетает с крыши, а туда поднимается с пустыря вдоль слепой стены смежного дома.

И все же, как ни приятны Навернову были визиты девочки, он чувствовал себя беспокойно. Во-первых, он знал, что Оля скрывает от матери их знакомство. Во-вторых, девочка однажды была увидена коллегами Олафа Ильича, зашедшими по делу. Неожиданно для себя смешавшись, он зачем-то представил ее племянницей. А что было говорить? И в-третьих, Навернова беспокоило терпкое томление, поднимавшееся по его сердцу, когда они сидели за препараторским столиком и он брал руку девочки, показывая, как правильно держать скальпель, или просто касался нечаянно ее острого локотка или розового ушка.

Оля проявила себя весьма способной ученицей. С раскрытым ртом слушала она вдохновенные пояснения Олафа Ильича, следила за его натопоренными руками, и, усвоив азы таксидермической кухни, была уже на пути к своему первому чучелу. Раз от разу занятия становились все более длительными. Навернов чувствовал, что привязывается к девочке. Желая отблагодарить своего наставника, Оля взялась было учить Олафа Ильича летать.

— Это ведь так просто, — говорила она, — нужно только, чтобы внутри было замиранье, как на качелях. Если его поймать, то сразу залетаешь. Главное — замиранье, а остальное ерунда.

Сдержанно улыбаясь, Навернов вытирал руки о полотенце и доставал из серванта грушу. Больше всего Оля любила "Улыбку Гирея".

"Что нашла во мне эта девочка? — думал Олаф Ильич, оставаясь один. — Неужели таксидермия заставляет ее проводить здесь столько времени? Может быть, во всем повинна безотцовщина /Оля ничего не помнила о своем отце/? Нет, здесь

она в его комнату, наполняя помещение щебетом юности, будоража что-то терпкое и клейкое в сердце таксидермиста. Если окно было закрыто, то, постучав в стекло, Оля ждала, пока Навернов отодвинет шпингалет, и долго смеялась потом над страхами Олафа Ильича /"мало ли кто увидит"/, объясняя, что залетает с крыши, а туда поднимается с пустыря вдоль слепой стены смежного дома.

И все же, как ни приятны Навернову были визиты девочки, он чувствовал себя беспокойно. Во-первых, он знал, что Оля скрывает от матери их знакомство. Во-вторых, девочка однажды была увидена коллегами Олафа Ильича, зашедшими по делу. Неожиданно для себя смешавшись, он зачем-то представил ее племянницей. А что было говорить? И в-третьих, Навернова беспокоило терпкое томление, поднимавшееся по его сердцу, когда они сидели за препараторским столиком и он брал руку девочки, показывая, как правильно держать скальпель, или просто касался нечаянно ее острого локотка или розового ушка.

Оля проявила себя весьма способной ученицей. С раскрытым ртом слушала она вдохновенные пояснения Олафа Ильича, следила за его наторевшими руками, и, усвоив азы таксидермической кухни, была уже на пути к своему первому чучелу. Раз от разу занятия становились все более длительными. Навернов чувствовал, что привязывается к девочке. Желая отблагодарить своего наставника, Оля взялась было учить Олафа Ильича летать.

- Это ведь так просто, - говорила она, - нужно только, чтобы внутри было замиранье, как на качелях. Если его поймать, то сразу взлетаешь. Главное - замиранье, а остальное ерунда.

Сдержанно улыбаясь, Навернов вытирал руки о полотенце и доставал из серванта грушу. Больше всего Оля любила "Улыбку Гирея".

"Что нашла во мне эта девочка? - думал Олаф Ильич, оставаясь один. - Неужели таксидермия заставляет ее проводить здесь столько времени? Может быть, во всем повинна безотцовщина /Оля ничего не помнила о своем отце/? Нет, здесь

что-то не то.

Однажды Оля рассказала Навернову свой сон, который вкратце сводился к следующему.

Она видела себя идущей по пустынному городу жарким летним днем. На улицах не было ни души. Перед одним старинным особняком девочка остановилась, привлеченная странным зрелищем. Особняк был украшен стоявшими вдоль карниза чугунными фигурами, каждая из которых застыла в какой-то определенной позе. И эти фигуры, одна за другой снимаясь со своих мест, летали над зданием, сталкиваясь время от времени чугунными лбами. Производимый таким образом звук выделялся тем разительней в вязкой тишине раскаленного дня, что фигуры не производили впечатления оживших: они летали и сталкивались в тех самых вычурных позах, которые придал им ваятель.

Посмотрев некоторое время на эту странную игру, Оля двинулась дальше. Город был по-прежнему пустынен. Переходя через мост, она увидела, что вместо воды в реке с тихим шуршанием струится песок. Оле стало страшно и она побежала. Выбежав на площадь, она остановилась, чтобы отдышаться. На фонарных столбах тускло поблескивали репродукторы-колокольчики. Строгий голос из них громко объявлял:

— Внимание! Работают все радиостанции страны и Центральное телевидение. Передаем информационное сообщение к сведению населения. Все девушки, достигшие восемнадцати лет и не вышедшие замуж, объявляются собственностью государства!

На этом сон обрывался и что было дальше — Оля не помнила. Заинтригованный, Навернов попытался растолковать сон при помощи старинного китайского сонника, которым нежраз раз удивлял своих знакомых, раскрывая им те или иные аспекты их прошлого, будущего или настоящего. Закодировав сон в пентаграммы, Олаф Ильич с содроганием увидел магический шестиугольник "Цзюньдуй", с необратимой логикой образуемый знаками. Расположение углов шестиугольника и составляющие их пентаграммы говорили о следующем: один из близких видевшего сон скоро погибнет, сам, видевший сон, под-

вернется тяжелым испытаниям и, возможно, тоже погибнет, люди, окружающие видевшего сон, подвергнутся тяжелым испытаниям и некоторые, возможно, погибнут. Пентаграмма, стоявшая в центре шестиугольника, указывала на то, что изменить ничего невозможно.

О страшном предсказании сонника и вспомнил Олаф Ильич, стоя над телом Плевкова и будучи выведен из оцепенения знакомым стуком по стеклу. В окне маячил Олин силуэт, еле различимый на фоне сумеречного неба.

— Оленька, — забормотал Навернов, пытаюсь заслонить на полу тело, — ко мне теперь нельзя, ради Бога, завтра, позже, я буду очень рад...

Но окно было открыто, Оля влетела в комнату и повисла над шкафом с Большой Коллекцией чучел.

— Спустись оттуда, — произнес Олаф Ильич, комкая в руках кожаный конверт.

Оля безмолвно висела над шкафом.

— Спустись оттуда, — Навернов повысил голос, — я требую, чтобы ты спустилась.

Встретившись с Олей глазами, Олаф Ильич проследил направление ее взгляда. Удивленными глазами девочка уставилась на маленькую дырку во лбу Плевкова, из которой еще тихо шла темная кровь. Это надломило Навернова. Он сел на ковер рядом с трупом и закрыл лицо руками.

— Кто этот дядя? — спросила Оля неожиданно близко.

Тихо спустившись, она примостилась рядом с Олафом Ильичом, вглядываясь в лицо покойного.

— Этот дядя? — переспросил Навернов, очнувшись, и страдальчески взглянул на девочку.

И вдруг, не дождавшись ответа, Оля передернулась всем телом и мелко и горько заплакала, прижавшись к халату Навернова. Поплавав, она неожиданно быстро уснула. Осторожно поднявшись, Олаф Ильич взял девочку на руки, перенес на диван и накрыл пледом. Выпростав на подушку несколько каштанов с кровавым отливом локонов, Навернов на мгновение за-

любовался спящей.

Затем он положил покойного в холодильный шкаф, спрятал револьвер, замыл ковер и, слегка приобравшись в комнате, сел у торшера и извлек из кожаного конверта сложенный восьмеро ветхий лист. Просмотрев непонятный текст, Навернов прилег на тахту и задумался. Потом, кажется, задремал. Халат жирописно драпировал его грузноватое, спокойно дышащее тело. Проснулся он будто бы от толчка. Над ним стояла Оля и смотрела на него.

- Что такое?— Олаф Ильич приподнялся и потер брови.

- Мне пора домой, мама будет волноваться,— сказала Оля и зябко поежилась.

- Домой?— Навернов взглянул на часы.— Я тебя провожу.

- Не надо.

- Ты хочешь лететь?

- Уже темно. Можно.

- Не надо лететь,— Олаф Ильич поднялся,— пойдём так.

Он взял девочку за руку и они вышли из дому. Скамейка, на которой еще недавно сидел Михаил Александрович Плевков, была пуста. Вокруг тоже никого не было. Скамейка была с трудом различима в тени довольно раскидистого и очень кряжистого дуба. Дуб загадочно пошуршивал своими дубовыми листьями, как бы напоминая о своей причастности к неким таинственным происходящим в глубине мироздания процессам, подобно своему одноименному собрату, выведенному могучей рукой одного из величайших наших травоедов.

А ночь, между тем, брала свое. Воцарившись над городом, она мерно и властно диктовала свои ночные законы населению, словно древняя царица, которой лучше, чем кому бы то ни было известно, что такое "Разделяй и властвуй". Грубо говоря, население распалось на две половины: на половину спящую и на тех жителей, которые для себя решили, что им лучше пока не спать. Спящие по внешнему признаку разделились на две рознящиеся между собой части: на спящих в объятиях лиц противоположного пола и на спящих в одиночестве. По внутренней характеристике спящие жители могли быть разделены также на две группы: на участвующих в сновидениях и на участие в них не принимающих. Принима-

ющие участие при желании могли бы быть еще разделены на подгруппы, а именно: на тех, которые видят в факте сновидения некую небывалую комбинацию бывалых впечатлений, и в силу этого усматривают во сне как бы игру усталого ума, и на тех, которые бы хотели найти в этом деле некий тайный смысл, чуть ли не эманацию божественного откровения. При дальнейшем рассмотрении спящих с этой точки зрения легко можно было бы отличить еще многочисленную группу граждан, чужающихся какого бы то ни было отношения к природе собственных сновидений, вследствие чего установить их позицию по этому вопросу не представляется возможным. С полным основанием можно было бы этих граждан отнести в какую-нибудь особую подгруппу или даже класс, но обратимся лучше к горожанам бодрствующим, или не спящим.

Очевидно, что таковые самораспадаются на два больших лагеря: на неспящих по нужде /включая работающих/ и на неспящих добровольно. Как тех, так и других, несмотря на явное различие в их положении, роднит одно— все они в той или иной степени подчиняются тем таинственным законам ночной действительности, которые... /едва не сказал "согласуются"/ никак не согласуются с нормами повседневной дневной жизни.

Взять хотя бы время. Вспомним, как течет время ночью. Сколь мало в нем от полуденного размеренного шага! Оно то крадется зачуйвашей пададь гиеной, нервно вскидывая хвостом, то летит подобно американскому локомотиву "Супер Ральф", скоростные характеристики которого хорошо известны, то замирает вроде скорбной скульптуры Скварелли с заломленными руками /о, ночные часы в больнице!/, короче говоря, тут затруднительно подобрать метафоры для обрисовки удивительных метаморфоз, претерпеваемых временным потоком в ночной период.

Один мой приятель сказал по этому поводу, что ночью время идет как бы даже вспять, но, хотя это и явное преувеличение /допущенное, впрочем, в полемическом задоре/, в каждой шутке есть доля шутки, как любил говаривать тот же приятель, и с этим трудно не согласиться.

Но Бог с ним, со временем, — что творится с человеком, стоит лишь солнцу скрыться за горизонтом! Прижав к затылку распухшие от жжи уши, сладострастно втягивает он нервными ноздрями ночной воздух, без видимой цели гася и вновь зажигая потухшую во рту сигарету, словно ее маленький фонарик может помочь ему в океане ночного безумия найти единственно правильное решение. И, одинокий на путях своих, подгоняемый воспаленной кровью, тычется и бьется, бьется и тычется в ночи слабый человек, туша и опять зажигая у себя во рту маленький красный фонарик.

Так же гасла и вновь вспыхивала измочаленная сигаретка в уголку рта Олафа Ильича, когда они с Олей приближались к ее дому. Сняв с девочки накинутый от холода пиджак, Навернов положил ей руки на плечи и сказал /всю дорогу они не говорили/ :

— Ты должна мне обещать, что никому не расскажешь о том, что видела у меня сегодня.

— Да, — сказала Оля.

— Ты обещаешь мне?

— Да, — повторила Оля, глядя ему в глаза.

— Ну, теперь иди.

Оля повернулась и пошла, но у парадной остановилась и спросила: — Олаф Ильич, вы сделаете из него чучело?

Навернов не ответил, потому что в этот самый момент с отчетливейшей ясностью вспомнил вдруг сон, который приснился ему на такте час назад.

Он был маленьким мальчиком и играл с какими-то неизвестными детьми в странную игру, правила которой не совсем понял, и оттого ему было немного не по себе. Игра происходила на удивительной красоты лугу, поросшем неизвестными Олафу дикими цветами. С трех сторон ~~хот~~ луг окружали скалы, а что было с четвертой — не понять из-за стлавшегося там густого тумана. Детей было человек пятнадцать или шестнадцать, мальчиков, кажется, больше. Водящему завязывали глаза и он бегал, растопырив руки, стараясь поймать кого-нибудь, и, когда ловил, то выкрикивал коротенький стишок, и все смотрели вверх, на скалу, где стоял узкоглазый мужчина в чер-

ном костюме и галстукe с толстой бамбуковой палкой в руке. Если он поднимал палку вверх, то повязку с водящего снимали и надевали на пойманного, а если палка шла вниз, то водящему приходилось ловить еще раз. Олафа поймала курносая девочка с огромным розовым бантом на макушке и звонко крикнула:

Будешь резать, будешь бить,
Все равно тебе водить!

Человек на скале поднял палку вверх, все закричали "нерождайка-нерождайка, кем я буду, угадай-ка", девочка засмеялась, сняла повязку, повязала ее Олафу, побежала в сторону тумана и исчезла.

Олаф довольно быстро поймал какого-то маленького неужлюжего мальчика и, не зная, что крикнуть, крикнул:

Чучело-мучело,
Всех ты нас замучило!

Потом он снял повязку и увидел, что мужчина на скале держит палку вверх. Повязывая повязку новенбкому, Олаф подумал, что уже где-то видел этого мальчика. Мальчик был маленький, сморщенный и совсем плохо бегал. Не сумев никого поймать, потный и несчастный, он сел в траву и заплакал. Дети притихли. Человек на скале сделал своей бамбуковой палкой полукруг и плачущий мальчик вдруг превратился в какого-то темножелтого зверя с вытянутой мордой и, метнувшись прочь, исчез в тумане. Олафу стало страшно и он побежал к скале, чтобы где-нибудь найти маленькую расщелину и спрятаться. Он нашел, и только собирался туда забраться, как почувствовал, что на него сзади кто-то смотрит. Он обернулся и проснулся.

Оли не было. Отряхнув пицжак, Навернов зябко поежился /ночь была холодная/ и побрел домой.

С этой ночи жизнь Олафа Ильича переменилась. Несколько дней провел он в мучениях и терзаниях самого различного свойства. Первым, самым острым и мучительным чувством

было чувство ужаса перед происшедшим. Ужасным было не только наличие трупа в холодильном шкафу или присутствие зловещего кожаного конверта, ужасен был сам ход, как выражался про себя Олаф Ильич, и в необратимости надвигающейся развязки нельзя было усомниться.

И развязаться все это, как твердо казалось Навернову, должно было самым скверным образом. Но странное дело — к этому чувству необратимости происходящего примешивалось у него какое-то маленькое радостное чувствико, происходящее как раз из сознания этой самой необратимости. То есть, было как бы приятно, что все катится как-то помимо тебя и, сколько ты не рыпайся, все равно прикатится именно туда, куда прикатится, а тебе остается лишь наблюдать, как все это туда вместе с тобой катится, да и поделывать, между тем, свои делишки.

Вторым мучившим Олафа Ильича чувством был мистический страх перед письмом, в подлинность которого он верил свято. Не менее свято верил он и в то, что, узнай он правду, ему не сдобровать.

Третьим владевшим Олафом Ильичом чувством был обычный страх уголовного порядка. Такой страх заставляет человека с содроганием прислушиваться к хлопающей двери лифта и шагам на площадке. Но замечательно то, что нашему герою ни разу не пришло в голову обратиться в милицию и все рассказать.

Кроме этих главных чувств было также множество всяких мелких страшков и страшочков, мыслей и мыслишек, перечислять которые было бы слишком утомительно, да и не к чему, поскольку через несколько дней Олаф Ильич Навернов начал делать первое человеческое чучело в своей жизни.

И стоило ему только взяться за это дело, как все страхи куда-то делись, а осталось лишь одно напряженное спокойствие и уверенность, всегда сопутствовавшие Олафу Ильичу в процессе работы. Он хорошо знал это состояние и ценил его, а особенно теперь, когда работа была во многом необычна и требовала всей концентрации опыта и таланта художника.

Олафу Ильичу пришлось преодолеть немало трудностей как нравственного, так и чисто технического порядка. Много усилий, в частности, потребовалось на латание пулевого отверстия во лбу Плевкова с тем, чтобы сделать его незаметным для взгляда. Не один день потребовался и для нахождения вполне естественной позы /сначала Навернов хотел исполнить чучело в стоячем положении, но потом передумал и остановился на сидячем варианте/, характерного выражения лица, положения рук и проч.

Лекции в Академии Олаф Ильич совсем забросил, сказавшись больным, дома никого не принимал, на телефонные звонки не отвечал, словом, превратился в некоего таксидермического анахорета. Исключение он составил лишь для Оленьки Барбанель, которая продолжала ходить к нему, но уже не в качестве ученицы, а теперь, скорее, как квалифицированный ассистент, много облегчавший Навернову трудоемкую кропотливую работу. Девочка, казалось, глубоко прониклась сознанием происходящей в комнате Олафа Ильича метаморфозы, и, как-то присмирив и притихнув за последнее время, словно повзрослев.

Через полтора месяца чучело было готово. Поистине зловещее впечатление произвело бы оно на человека, знавшего покойного. Михаил Александрович Плевков был воспроизведен в той самой позе, в которой Навернов впервые увидел его на скамейке. Удивительная живость маленького сморщенного лица, запавшие глаза-буравчики под бровками-кустиками, спокойная и, в то же время, собранная поза, — все выдержано было чрезвычайно подробно и даже несколько фотографически, сообщая сидящему впечатление необычайную: ~~хорошо~~ вот-вот, казалось, Плевков встанет, кашляет и скажет:

— Здравствуйте, Олаф Ильич, не ожидали?

Навернов поместил Плевкова в давно пустовавшую пристройку к шкафу с Большой коллекцией, где когда-то помещалась группа лемуров, впоследствии подаренная Олафом Ильичом Зоологическому музею. Застекленная дверь пристройки задерживалась занавесочкой. Эта-то занавесочка, ситцевая и как бы рябенская, и послужила, так сказать, дальнейшему развитию хода событий. Дело в том, что Навернова неожидан-

но посетила мать Оленьки Барбанель.

— Меня зовут Софья Семеновна, — сказала она, войдя. — Я узнала, что моя дочь посещает ваш дом и решила познакомиться с вами, ведь тот случай на вернисаже вряд ли может считаться знакомством. Я надеюсь, вы не сочтете за нескромность...

— Ну что вы, мне очень приятно, пожалуйста, проходите, прошу вас, — засуетился Олаф Ильич, пораженный сходством матери с дочерью, которое теперь вдруг бросилось ему в глаза. — Извините, что отлучусь на секунду, у меня как раз кофейник стоит, вы ведь не откажетесь?

Вернувшись с кофейником, Навернов содрогнулся от представившейся ему сцены. Оказывается, он забыл задернуть занавеску на плевковской пристроечке и теперь обнаружил Софью Семеновну застывшей перед ней с изменившимся лицом.

— Боже мой, что это? — обратилась она к таксидермисту, заломив руки.

— Это... это, видите ли, один экспериментальный муляж. Портрет, так сказать, современника. Заказ Этнографического музея, — залопотал Олаф Ильич, не зная, куда пристроить горячий кофейник.

— Не лгите! — крикнула женщина и двинулась на Навернова. — Я сотрудник Этнографического музея и знаю, что никаких современников музей не заказывал. Это мой муж! Мой бывший муж Михаил Александрович Плевков, да будет вам известно!

Навернов смешался.

— Отвечайте, что вы с ним сделали? Вы ведь убили его, да? Отвечайте: да? — продолжала наступать Софья Семеновна.

Олаф Ильич не знал, что делать.

И вдруг женщина разом как-то вся угасла, поникла, опустилась на стул и заплакала. "В точь как дочь", — пришел Навернову в голову неуместный каламбур. Софья Семеновна и действительно очень близка была внешне с Оленькой. Те же каштановые с кровавым отливом волосы, та же некоторая приподнятость в чертах лица, та же неуловимая ладность во всей фигуре и особенно в посадке шеи, и, наконец, та же резкая смена настроений, — все это уже хорошо известно бы-

ло Олафу Ильичу. Сев рядом с плачущей женщиной, он взял ее руки в свои и, взглянув в полные слез глаза, произнес:

— Сейчас я вам расскажу.

И он рассказал ей все, начиная с того самого вечера, когда он увидел Плевкова сидящим на скамейке перед своим подъездом. Софья Семеновна не прерывала его ни словом и лишь при описании кончины мужа слабо поморщилась и издала тихий горестный звук. Закончил повествование Олаф Ильич так:

— Завершив чучело, я понял, что вряд ли еще мне удастся создать что-нибудь подобное. В этой работе я, с помощью вашей дочери, дошел до крайней своей точки и теперь думаю, что пора, наверное, оставить это занятие. Хотя, пожалуй, больше ничего делать я и не умею... но ведь главное, так сказать, во-время уйти со сцены, не так ли?

В этот момент Софья Семеновна обернулась, а за ней взглянул назад и Навернов. Плевков внимательно смотрел на них из-за стекла, словно прислушиваясь к разговору.

— Мне страшно, — прошептала вдова.

Олаф Ильич встал, решительно подошел к пристройке и задернул занавеску.

— Не смотрите туда. Я понимаю, как вам тяжело, — сказал он и, несколько склонив ~~голова~~ набок свою львиную голову, добавил:

— Вы любили его?

Софья Семеновна долго не отвечала, потом как-то подавалась вперед всем корпусом и заговорила.

— Миша был очень странный человек. Мы прожили вместе три года и восемь месяцев, но я так и не составила о нем какого-нибудь твердого мнения. Самое ужасное, я до сих пор не могу сказать, хорошим он был человеком, или нет. Конечно, в каждом есть и хорошее и плохое, но мы всегда ведь решаем, хорош для нас этот человек, или плох, принимаем мы его для себя, или нет. И это необходимо решить, если как-то связан с человеком, а уж тем более, если живешь с ним. И вот этого-то, казалось, простого вопроса, живя с Мишей, я решить не могла. Знаю только наверняка, что он был очень несчастен, несчастен как бы с рождения, и жизнь для него

была сплошной непрекращающейся мукой, и не было для него из этой муки выхода, и никто ничего не мог тут поделать. Но я не ждала Мишу. Жалют мученика лишь тогда, когда в его муке виден какой-то исход, пусть далекий. К муке же безысходной отношение совсем другое. Я не знаю, как высказать, но вы ведь чувствуете, да?

- Да,- кивнул Олаф Ильич, разливая в чашечки кофе.

- Вы спросили, любила ли я его. Пожалуй, что любила.

- А он?

- Вы знаете, к Мише это слово-то даже не очень подходит. Он мне сказал однажды, что очень любит меня за то, что я не мешаю ему мучиться. Ну какая уж тут любовь, вы ведь понимаете.

- Да, да,- поддакнул Навернов, размешивая ложечкой сахар.

- Вот так и жили мы с ним, и все, может быть, сложилось бы и ничего, но однажды /я тогда уже ждала Оленьку/ Миша принес в дом это письмо и все переменялось. Он и раньше говорил мне о каком-то тексте, "который его не минует", как он выражался, и, желая прочесть его в подлиннике, занимался со мною бенгали /я ведь индолог по специальности/. Зная, что он терпеть не мог никаких расспросов, я никогда не спрашивала его об этом тексте, к прочтению которого он почти три года готовился. И вот, как-то вечером, он появился дома очень возбужденный, держа в руках кожаный конверт.

- Позвольте,- перебил Навернов и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. - Вот он. Так сказать, для наглядности.

- Да, это он,- вздрогнула Софья Семеновна. - В тот вечер он закрылся у себя в комнате с этим конвертом. А я лежала в спальне и как-то беспокойно было у меня на сердце. Опасения мои подтвердились. В начале первого я услышала Мишин крик. Конечно, тотчас бросилась туда, но, сколько ни стучала, сколько ни ломилась, он мне так и не открыл.

Утром он вышел из комнаты весь бледный, руки трясутся, глаза красные, а когда я спросила, что это значит, он ударил меня по лицу. Это случилось впервые, и я разрыдалась. Он же усмехнулся и вышел. С тех пор наша жизнь пре-

вратилась в какой-то кошмар. Миша, мой тихий Миша, стал ежедневно избивать меня, это беременную-то! Он превратился в совершеннейшего зверя. И вот, чтобы сохранить жизнь будущему ребенку /потому что я, конечно, этого бы не вынесла/, мне пришлось уйти. В последние дни я пыталась найти злосчастный конверт, чтобы понять причину всего этого ужаса, но он куда-то надежно его запрятал, а тогда я думала, что, может быть, и уничтожил.

— Как видите, все в полной сохранности, — нервно усмехнулся Олаф Ильич, доставая из конверта сложенный в восемь раз ветхий лист. — Желаете посмотреть?

Софья Семеновна вскоочила со стула.

— Спрячьте, уберите это немедленно!

— Как, вы разве не хотите ~~эго~~ прочесть?

— Ни за что на свете!

— И не хотите перевести мне?

Вдова замотала головой.

— Но Софья Семеновна, голубушка, мне ведь необходимо знать содержание этого письма.

Женщина молчала, но была, видимо, в сильном волнении.

— Видите ли, я уже говорил вам о некоей крайней точке, до которой я теперь дошел. И я чувствую, ~~нет~~, просто уверен, что для снятия с нее мне необходимо какое-то сильнейшее внутреннее потрясение. И тут это письмо и вы. Это просто судьба. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Я прекрасно понимаю вас, Олаф Ильич, но от чтения и, тем более, перевода этого текста напрочь отказываюсь. Если хотите, я могу порекомендовать специалистов...

— Нет, нет, — вскричал Навернов, — если не вы, то никого уж не надо. Повторяю вам, я чувствую, что здесь рок.

Софья Семеновна продолжала хранить молчание, но дышала прерывисто и, видимо, на что-то решалась.

— Что с вами? — спросил Навернов, зачем-то привстав на цыпочки.

— Слушайте, что я вам скажу.

— Да? — не сходя с цыпочек, Навернов вытянул шею, как делают некоторые малорослые люди, готовясь услышать что-

нибудь важное. Олаф же Ильич был росту выше среднего.

— Пойдемте сейчас со мной.

— Куда?— Навернов удивленно опустился с цыпочек и вобрал шею.

— Пойдемте, не спрашивайте, вы сами все увидите.

Подозревая мистификацию и, в то же время, с каким-то неприятным замиранием в душе, Олаф Ильич вышел вслед за Софьей Семеновной на улицу. Стоял солнечный, но прохладный день. В воздухе была та прозрачность, которая говорит о переломе в сторону осени. Наполняя легкие свежим льдистым воздухом, Навернов молча шагал за вдовой.

Она повлекла его в старую часть города, где располагались церкви, банки и музеи. У большого темно-зеленого здания с колоннами, в котором Олаф Ильич признал Этнографический музей, они остановились. Музей был основан более века назад известным географом, путешественником и ботаником Саввой Игнатьевичем Прищепковым. От здания веяло строгостью и преданностью науке.

— Пойдемте,— сказала Софья Семеновна,— музей как раз сегодня выходной, нам никто не мешает.

Они вошли через служебный вход. Софья Семеновна, достав из сумочки синюю книжечку, показала ее вахтеру и они поднялись на второй этаж по широкой железной лестнице, устланной дорожкой с затейливым орнаментом.

Непривычно пустынно было в музее. Погруженные в полумрак залы были полны таинственной значительности оставшихся наедине с собою предметов и, казалось, этой значительности не могли нарушить шаги двух случайно попавших сюда людей.

— Что-то здесь не так,— думал Навернов, энергично ведомый под руку Софьей Семеновной,— что-то здесь непременно не так."

Наконец, они вошли в зал "Индия, Непал, Бирма". Софья Семеновна подвела Навернова к одному застекленному стенду и шепнула:

— Смотрите! Мы все в этой игре.

На стенде была представлена какая-то утварь и четыре манекена, изображавших жителей Индии в национальных одеждах. Сбоку стоял еще один манекен, символизировавший ан-

английского колонизатора в пробковом шлеме. Фигуры были почти человеческого роста и исполнены довольно искусно, хотя в позах их проскальзывала какая-то напряженность. Чем больше вглядывался в манекены Олаф Ильич, тем меньше у него оставалось сомнений в том, что эти фигуры — никто иные, как персонажи индийской истории, некогда рассказанной ему Плевковым. Навернову вдруг нестерпимо захотелось пить.

— Где же японец? — спросил он, облизав пересохшие губы.

— Не знаю, — прошептала Софья Семеновна.

Олафу Ильичу пришла в голову нелепая мысль, что манекенам, возможно, тоже хочется пить, и только из боязни напугать людей они не подадут им какого-нибудь условного знака, чтобы те поставили им в вольтер мисочки с водой.

Да, именно так и подумал Навернов: "мисочки с водой".

— Пойдемте отсюда, — ненатурально громко сказал он и дернулся к выходу.

Обратно они шли теми же залами, в одном из которых Олафа Ильича подстерегал еще один, ранее им не замеченный сюрприз: в отделе, посвященном фауне Алтая, он увидел фотографию своего старого знакомого. Старик-алтаец стоял, улыбаясь, перед энотовой норой; в одной руке он держал горящую головню, в другой — двустволку. Под фотографией — надпись: "На промысле".

Застыв перед фотографией на несколько мгновений, Навернов издал слабый горловой звук и мелкой рысцой побежал к выходу. Софья Семеновна нагнала его на лестнице.

— Что с вами? — встревоженно спросила она, но он не отвечал, продолжая трусить вниз по ступенькам.

На улице Софья Семеновна взяла его под руку.

— Я провожу вас домой, у вас ужасный вид, — сказала она.

— Благодарю вас, не нужно, — сухо сказал он.

— Ну хоть немного, вон до перекрестка, идет? ..

— Софья Семеновна, — промолвил Олаф Ильич, когда они прошли несколько шагов, — я совершенно серьезно хочу попросить вас сделать для меня перевод письма. Мне это совершенно необходимо. От этого, теперь, можно сказать, за-

висит моя жизнь.

— Давайте-ка лучше встретимся завтра и поговорим на эту тему, хорошо? Вот вам мой телефон.

Софья Семеновна вынула из сумочки листок и записала номер. — Позвоните завтра вечером, договорились?

Навернов кивнул.

— Ну, а теперь я побегу. Вон мой трамвай, до свидания.

— До свидания, — сказал Олаф Ильич и облизал пересохшие губы.

Проводив взглядом ладную фигуру Софьи Семеновны, он двинулся дальше по тротуару, но визг трущейся об асфальт резины и звук глухого удара заставили его обернуться. Отброшенная на противоположный тротуар, Софья Семеновна исчезала за набегавшей невесть откуда толпой. Протиснувшись, Навернов успел поймать мутный и уже бессмысленный взгляд умирающей и, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей, сел рядом и горько и мелко затрясся всем своим большим холеным телом.

Ш.

"Занимающимся живописью известно, что наиболее цельно воспринимается предмет, когда смотришь на него не прямо, а как бы вскользь, чуть в сторону. При достаточно же длительном, в упор, рассматривании предмета, он просто исчезает. И так во всем. Смотреть на предмет не значит его видеть, видеть не значит понимать, понимать не значит знать и знать не значит постигнуть.

Опосредованность настолько же присуща постижению, насколько лепестки присущи цветку или цвет чая его вкусу. Древние говорили, что если между твоим отношением к предмету и самим предметом можно продернуть хоть волос, то такое отношение не есть истинное. Но, поскольку, чистое отношение к предмету, или безотносительность, для нас почти невозможна, и волос все-таки продергивается, то спасает отношение к предмету не прямое, или опосредованное. Слияние постигающего и постигаемого приходит через опосредованность

их отношения друг к другу, и замечательно, что опосредованность эта от этого отношения никак не зависит. Она является чем-то третьим, каким-то абсолютно не заданным и, в то же время, абсолютно присущим процессу постижения моментом, уразумение которого сердце с радостью может заменить благодарностью.

На опосредованности строится все искусство, вспомним хотя бы чеховский осколок бутылочного стекла в плотине в лунную ночь, но наиболее совершенно принцип опосредованного постижения был разработан религиозной мыслью и наиболее полное свое воплощение...

На этом обрывалась рукопись, которую Навернов нашел в сумочке Софьи Семеновны, сидя в санитарной машине рядом с накрытым простыней телом. Вернулся домой он за полночь. Тупое оцепенение, охватившее его, достигло предела, когда он затворил за собой дверь своей комнаты. Обведя бессмысленным взглядом потолок, стены, шкаф с Большой Коллекцией, плевковскую пристроекку, книжные полки и торшер, он повалился на диван и тихо пролежал там с минуту. Потом встал, снял пиджак, аккуратно повесил его на стул и, закурив, принялся шагать взад и вперед по комнате.

Привычку шагать взад и вперед в одиночестве он сделал еще в молодости, когда разнообразнейшие, першие из всех щелей жизненные вопросы требовали скорейшего и энергичного разрешения.

Но теперь шагал он чисто механически и голова его была пуста. Настолько пуста, что он даже никогда раньше не замечал в себе такого отсутствия хоть малейшей мысли или эмоции. Было пусто и лишко, как в банке со съеденным вареньем.

Но где-то уже билась и жужжала муха, направляя свой путь к вожделенной банке. Муха — это, конечно, аллегория, под которой автор хотел лишь вывести небольшое желание, готовое вот-вот закраситься в опустевшую сердцевину Олафа Ильича. Желание это, ставшее для Навернова в последнее время как бы характерной и интимной чертой, выражалось в потребности периодически отдергивать занавеску на пристройке к шкафу с Большой Коллекцией, где помещалось чучело Миха-

ила Александровича. Не то, чтобы Навернов восхищался своим шедевром, или профессионально переживал невозможность выставить чучело для обозрения широкой публики, нет, здесь крылось что-то совсем иное, потребность эта заключала в себе элемент мистический и словесному выражению трудно поддающийся.

И вот, наконец, когда муха-желание влетала в пустую банку-сердцевину и сладострастно нацелила свой хоботок, выбирая стенку послаще, Олаф Ильич изменил направление движения своего тела и, приблизившись к пристройке, отдернул занавеску.

В первый момент ему показалось, что Плевков сидит как-то не так. Не то, чтобы раньше Михаил Александрович сидел иначе, но в посадке его появился, как показалось Навернову, какой-то новый посадочный нюанс, доступный лишь глазу профессионала. Неприятно пораженный этим наблюдением, Олаф Ильич уселся в стоявшее напротив кресло-качалку и посмотрел в глаза чучелу. Они смотрели, вроде бы, тоже не совсем так, как прежде. Навернов придал им выражение усталое и затравленное, теперь же плевковские глазенки смотрели довольно-таки бойко из-под бровок-кустиков и даже с некоторым озорством. Но главное — руки, руки, которые должны были бы цепляться за подлокотники плюгавенького креслица, в которое Наверновской волею был усажен покойный, теперь вольно лежали на коленях и как бы мелко подрагивали.

И, будто вторя им, самостийно подрагивал в качалке несчастный Олаф Ильич. Подсознательно чуя что-то неладное, он долго и тяжело петлял по улицам, стремясь оттянуть момент возвращения домой.

И вот, словно сбывшееся дурное предчувствие, Михаил Александрович Плевков слегка привстал в своем креслице, опершись на подлокотники, подался корпусом вперед, вспрыгнул на ножки, отворил стеклянную дверь и вышел вон.

Сделав шаг по направлению к Олафу Ильичу, он кривенько усмехнулся и, стряхнув пыль с пиджака, развязно произнес:

— Здравствуйте, Олаф Ильич, не ожидали?

Навернов, тщетно пытаясь отдать себе отчет в происхождении, молчал. Все, случившееся с ним за последнее время, было довольно необычно, но, все же, не сверхъестественно. И, хотя сверхъестественное витало где-то рядом, и сердцем Олаф Ильич вполне допускал, что вдруг да и вылезет что-нибудь подобное, выход чучела из пристройки до глубины души покоробил его.

— Что, не признаете? Отрекаетесь, что ли, от своего детища?— продолжал развязничать Плевков, слегка пританцовывая, будто разминая затекшие ноги. — Или неприятно, что я к вам так запросто вышел? Может быть, вам бы хотелось, чтобы нервишки ваши к сегодняшнему выходу я заранее каким-нибудь образом приготовил, знак, что ли, какой подал?

— Прекратите паясничать!— не выдержал Олаф Ильич. — Я дал вам вторую жизнь не для того, чтобы вы глумились надо мной, да еще в такую тяжелую для меня минуту и в этом месте, где, погибнув, вы воскресли вновь...

Он остановился, переведя дыхание.

— Это что же такая за тяжелая для вас минута?— взвизгнул Плевков. — Уж не пребываете ли, милейший, в сомнении насчет тела моей покойной супруги? Может быть, ее тоже нацелились того... в пристроечку с другой стороны вашего шкафа, так сказать, для симметрии? Не задумали ли семейный портрет?

— Перестаньте,— устало махнул рукой Навернов. — Если хотите, сходите на кухню и поставьте кофе. Кофейник на плите.

— Спасибо,— неожиданно спокойно сказал Плевков,— я не хочу.

Помолчали.

Плевков подошел к трюмо, осмотрелся.

— А дырку-то на лбу вы мне славно заштопали, будто ничего и не было.

Навернов не ответил. Он вдруг представил себе, что ничего действительно не было, что Плевков только сейчас зашел к нему после знакомства на скамейке и он, Навернов, может сейчас же, если захочет, выставить гостя. Но внутренний карман наверновского пиджака оттягивал пресловутый конверт

и, запустив туда руку, Олаф Ильич в который раз ощутил его прохладную шероховатую поверхность. Это отрезвляло.

— Вам повезло в игре, — сказал Плевков, усаживаясь на тахту. — ~~Вы выиграли~~. Я не умел так быстро бегать.

— Что вы имеете в виду?

— Не прикидывайтесь дурачком, вы вполне в курсе дела. Вы, естественно, все забыли, но игра была показана вам вновь после прогулки с моей дочерью по ночному городу.

— Если вы говорите о моем сне, то я должен вас поправить. Я видел его, или, как вы выражаетесь, он был мне показан не после того, как я проводил вашу дочь, а значительно раньше, когда прилег вот на эту тахту, где вы сидите.

— Нет уж, позвольте мне вас поправить. Сон был показан именно в тот момент, когда моя дочь спросила вас, намерены ли вы набить чучело из ее папши.

Навернов поморщился.

— Во-первых, Оля спросила совсем не так, а, во-вторых, в тот момент я только вспомнил сновидение, увиденное, повторяю, раньше.

— А почему вы так уверены, что видели его раньше? Вы не допускаете мысли, что увидели его в тот момент, когда вспомнили о нем?

Навернов хотел было возразить, но потом подумал: "О чем спорить с чучелом, Боже мой!" и лишь устало кивнул:

— Вполне возможно. Интересная гипотеза...

— Я рад, что вы согласились. А теперь к делу. Где письмо?

"Так вот зачем пожаловал", — понял Олаф Ильич и, улыбаясь, сказал:

— Я полагаю, что при вашем уровне осведомленности подобный вопрос звучит диковато.

— Вы меня не поняли, — поправился Плевков. — Конечно, мне известно, что конверт лежит у вас в левом внутреннем кармане пиджака, я просто хотел вас попросить, чтобы вы вынули его оттуда и передали мне.

— И за такой мелочью вы утруждались вылезать?

— Верните письмо! — плевковские глазки злобно блеснули под бровями-кустиками.

— Хорошо, если вы настаиваете, — Навернов встал с кресла-качалки. — Но с условием, что вы мне его переведете.

— Как, разве Соня...

— А, Михаил Александрович, вы, оказывается, не всеведущи. Да, Софья Семеновна не успела выполнить перевод. Она назначила мне на завтра, но теперь ее трагическая гибель заставляет меня обратиться к вашим услугам.

— Ах, так вы еще ничего не знаете! — Плевков радостно возбудился и, спрыгнув с тахты, забегал по комнате. — Очень, очень приятно будет познакомить вас с этим сочинением. Там ведь много о вас написано.

— Я не вполне понимаю.

— О вас, то есть, о человеческом роде.

— К которому вы себя, я вижу, уже не причисляете?

— Нет, батенька. Теперь я чучело и горд этим. Чучело — это звучит гордо! Кто не знает, что такое хоть разок побывать чучелом, тот ничего не знает. Чучело-чучелу — друг, товарищ и брат. Чучела всех стран, соединяйтесь! Тру-ля-ля! ту-ру-ту-ру!

Вконец оживившись, Плевков быстро бегал по комнате, несколько даже приплясывая.

— Давайте письмо! — подскочил он к Олафу Ильичу.

С некоторой опаской тот протянул конверт. Взяв его, Плевков мигом успокоился. Лицо Михаила Александровича приобрело оттенок серьезный и даже торжественный, насколько это было возможно при его лицевой мускулатуре.

— Олаф Ильич, — несколько официально начал он, — я надеюсь, вы помните, о чем шла речь в нашей первой и, к сожалению, последней беседе...

Навернов вытянул губы трубочкой.

— Мы говорили об ужасном, — продолжал Плевков, — и о том, какую роль оно играет в человеческой жизни.

— Ну, так далеко мы не заходили...

— То есть как, позвольте, не заходили? Иллюстрацией к нашей беседе я привел поучительную историю, затем вручил вам непосредственно фигурировавшее в истории письмо, и, наконец, шлепнул себя в лоб прямо у вас на глазах. Куда уж, спрашивается, дальше заходить?

Олаф Ильич пожевал губами.

— Теперь же вы настаиваете, чтобы я перевел вам письмо.

Навернов кивнул.

— Хорошо. Только переводить не потребуется— я помню его наизусть. Вы можете спросить, почему я не перевел его тогда, даже более того, солгал, что и понятия не имею о его содержании?

Навернов опять кивнул.

— Но посудите сами, разве вы стали бы делать из меня чучело, после того, как узнали бы самое ужасное из того, что только может быть выражено в словах человеческой речи? Я думаю, вам было бы не до того. И никогда бы не занять мне почетного места в вашей Коллекции, и никогда жена не встретилась бы с мужем, а дочь с отцом в новом, так сказать, качестве. Что с вами?

Плевков прервал свою речь, потому что Навернов, казалось, вовсе не слушал его. Он сидел, как-то неестественно задрал голову, в качалке и сотрясался от чуть слышного смеха. Но это был не тот сдержанный и деликатный смех, до которого Олаф Ильич был большой мастер, в теперешнем его смехе было гораздо больше чего-то конвульсивного.

— Нет, нет, ничего, продолжайте,— произнес он, сотрясаясь.

— Так вот,— переменял тон Плевков,— дело в том, что сначала мне хотелось бы подвергнуть вас маленькой проверке, что-то вроде тестика.

— Что еще за тестик?

— Да, ей Богу, ничего особенного, суший пустяк.

Олаф Ильич посерьезнел.

— Так вы согласны?

— А в чем суть?

— Какая же это будет проверка, если вы узнаете, в чем суть? Согласны или нет?

— Ну валяйте, черт с вами,— с выражением какого-то отвращения произнес Навернов и уселся в качалке поплотней, но пронзительный звук бьющегося стекла заставил его встрепенуться.

Высадив одну из застекленных дверей шкафа, серебристый енот выскочил наружу, на секунду замер на ковре, ошелело оглядываясь, и, метнувшись куда-то за торшер, исчез из виду. Навернов вскочил.

- Погодите, голубчики, не все сразу! - завизжал Плевков, оборотившись к шкафу.

Взглянув на свою сокровищницу, Олаф Ильич обомлел. Чучела оживали. Иные, лениво распуская крылья, чистили перышки, издавая давно забытые гортанные звуки, другие, нетерпеливо молотя хвостами, отдирали от подставок приклеенные лапы и выпрыгивали и вылетали наружу, наполняя воздух разнообразнейшим криком и клетотом. За какие-нибудь полминуты в комнате воцарился невообразимый сумбур. С люстры на торшер и обратно прыгали маленькие макаки-бакланчики, когда-то вывезенные лично Олафом Ильичом с Суматры, обивку тахты с остервенением грызли голохвостые персидские волки, пегие руконосцы атаковали библиотеку, синерылая мурена истошно орала, забившись в пианино, а где-то высоко, под потолком, правильными кругами ходил сизогрудый буревестник, невозмутимым огненным взглядом окидывая происходящее непотребство.

Руководил всем этим скотством Михаил Александрович. Забравшись с ногами на диван наподобие дирижера, он, хохоча, от явного блаженства, науськивал и без того обезумевших животных.

- Прекратите! - крикнул было Навернов, но поняв, что в стоявшем гвалте его крик был пустым звуком, он с трясущейся челюстью бросился к секретеру. Отпихнув ногой мочившегося на витую ножку толстолобого курлана, Олаф Ильич вытащил из бокового ящика плевковский револьвер и взвел курок.

- Не стрелять! - завопил Плевков, вытаращив налившиеся злобой глазки.

Не слушая его, Навернов навел револьвер на сизогрудого буревестника и выстрелил. Калибр у самодельного револьвера был, по-видимому, немалый, так как у буревестника образовалась в крыле значительная прореха, которой он начал со свистом забирать воздух, не теряя, впрочем, высоты.

"У них нет ни крови, ни нервов, их можно уничтожить

только механически", — понял Олаф Ильич и сорвал со стены томагавк, подарок коллег из Калифорнии. Но взмахнуть им не успел. На каждом рукаве у него повисло по персидскому волку, в ноги же бросилась синерылая мурена, выбравшаяся, наконец, из пианино. Увлекая волков своей тяжестью, Навернов упал на ковер. Упав, он тотчас понял свою ошибку, но было уже поздно. Воющая, пищащая и клекочущая нечисть облепила его, и последним, что он заметил, была метнувшаяся к двери фигура Плевкова.

Когда Навернов пришел в себя, было утро. В комнате никого не было. Хрустя битым стеклом, Олаф Ильич подошел к шкафу. Полки были пусты, если не считать опрокинутых подставок с прилипшими кое-где перьями и шерстинками. Ковер, тахта, скатерть и даже стены покрыты были следами самыми диковинными. В углу сиротливо стоял искореженный торшер. Навернов пошел в ванную и умылся. Холодная вода приятно щекотнула лицо. Насухо вытеревшись, он взглянул в зеркало и заметил на висках серебряные волоски, которых раньше не было. Постояв немного в раздумьи, по-обыкновенно, раскачиваясь на одной ноге, он решил было побриться, но потом что-то передумал и вышел из дому с легкой, поблескивающей на солнце щетиной.

Утро было уже по-осеннему прозрачным и холодным. Свежесть и пустота господствовали во всем. Первые листья шуршали по асфальту. Гонимые налетавшим из подворотни ветром, они переворачивались, сталкивались, разлетались и снова сталкивались, словно играли в какую-то неведомую игру.

Проходя мимо помойки, что находилась в конце пустыря, Олаф Ильич заметил странный предмет, привлечший его внимание. Издали предмет напоминал изношенный и выброшенный на помойку серый костюм, а при ближайшем рассмотрении оказался Михаилом Александровичем Плевковым, вернее, тем, что от него осталось. Уже порядком выпотрошенное, чучело лежало на боку, поджав под себя остатки ног, неудобно вывернув к небу голову, лопнувшую по швам, сквозь которые проглядывала набивка. В правой руке чучело держало кожаный

конверт. Высвободив его из расплзающихся пальцев, Навернов обнаружил, что он пуст. Зашвырнув конверт вглубь по- мойки, Олаф Ильич пнул чучело ногой в бок, отчего старый пиджак лопнул и из образовавшейся прорехи хлынули опилки. Печально присвистнув, Навернов двинулся дальше.

Не успел он пройти и ста метров, как увидел Олю Барбанель. Она стояла у слепой стены смежного дома, как будто не узнавая его.

— Оля! — позвал Навернов.

— Олаф Ильич! — закричала девочка и бросилась ему на- встречу.

Подхватив Олю на руки, Навернов крепко прижал к себе ее невесомое трепещущее тело и застыл так, шепотом повто- ряя бессмысленное: "Ну все. Ну теперь-то уж все." Обвив руками шею бывшего таксидермиста, девочка затихла. Ветер теребил ее каштановые волосы и сквозь их золотистую дымку Олаф Ильич увидел стоящего в подворотне напротив мужчину. Он был в черном костюме, в галстуке и опирался на толстую бамбуковую палку.

1978.